



## ЛЕВ ТОЛСТОЙ И НИКОЛЕНЬКА ИРТЕНЬЕВ:

### три эпохи развития

#### **Начало: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь...»**

Однажды, гуляя с Тургеневым, он увидел старого мерины и так удивительно рассказал историю его жизни, что Тургенев, смеясь, предположил: «Когда-то, Лев Николаевич, вы были лошадью».

Через много лет Илья Львович Толстой вспоминал об отце: «Ведь у него всегда было семь пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять до конца. <...> Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовской и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Болконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомера...»

Но сначала он был все-таки графом Толстым, Львом Николаевичем, Лёвущкой, появившимся на свет в одном из самых родовитых семейств России. Предок Толстого по отцовской линии был сподвижником Петра I и одним из первых получил графский титул. Прабабка матери Толстого и прабабка Пушкина были родными сестрами, так что Пушкин и Толстой являются не только литературными, но и кровными (правда, далекими) родственниками.

«Я родился в Ясной Поляне, Тульской губернии, Крапивенского уезда, 1828 года 28 августа. Это первое и последнее замечание, которое я делаю о своей жизни не из своих воспоминаний» — так начинается «Моя жизнь», написанная за несколько месяцев до пятидесятилетия (1878).

Как и всегда, стремясь к предельным задачам, Толстой хочет погрузиться в колодезь памяти до самого дна,

понять, как и когда начинается человеческая жизнь и человеческое сознание.

«Когда же я начался? Когда начал жить? <...> Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобретал и 1/100 того. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а нестижимость».

В жизни до пяти лет, на этом страшном расстоянии, он отчетливо помнил два контрастных эпизода.

Его пеленают, сковывают, а он хочет вырваться на свободу: «Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают».

А вот его купают в корыте, и он впервые ощущает плоть мира и собственное тело: «...Я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную страшенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».

В пять лет, покидая детскую и переходя на первый этаж к старшим братьям, он в первый раз почувствовал, что «жизнь не игрушка, а трудное дело». «Я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня».

У него было счастливое детство. Стоял посреди России в старом парке дворянский дом, смотрели со стен портреты предков, Толстых и Волконских. Четверо братьев и сестра росли в атмосфере всеобщей любви и заботы, с гувернерами, учителями, детскими играми и радостями.

У него было несчастное детство. В полтора года он потерял мать, Марию Николаевну (он совсем не помнил

ее, от нее не осталось даже портрета). В девять — остался круглым сиротой (отец Николай Ильич умер внезапно, деньги, бывшие при нем, пропали, предполагали даже, что он был отравлен слугами). В семье менялись опекуны, детей разлучили с любимой тетушкой Т. А. Ергольской.

Да и может ли быть счастлив и беззаботен ребенок, который в пять лет уже испытывает «чувство креста, который призван нести каждый человек»?

В тринадцать лет Толстой оказывается в Казани, через год поступает в университет, меняет факультеты (восточный на юридический), но в 1847 году возвращается в Ясную Поляну, так и не закончив курса. Окружающим, да и себе самому, он казался неудачником. Между тем, сам того пока не подозревая, он уже определяет свою будущую судьбу, выбирает свой пожизненный крест. В марте 1847 года он начинает вести дневник (последняя запись в нем будет сделана через 63 года, за неделю до смерти).

Дневник становится интимным собеседником, воспитателем, «школой самонаблюдения и самоиспытания» (Б. М. Эйхенбаум). Толстой окружает себя частоколом правил (от правил жизни вообще до правил игры в карты), строит долговременные программы, строго следит за их выполнением, карает себя за ошибки и отступления.

В этих записях четко проявляются предельность требований к себе и масштабность задач, которые ставит перед собой молодой человек. Собираясь возвращаться из Казани в Ясную Поляну, 17 апреля 1847 года Толстой намечает ближайшие жизненные планы:

«Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и *статистику*. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать дис-

сертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать».

Конечно, в полном виде эта грандиозная программа не могла быть осуществлена не только за два года, но и за всю жизнь. «Легче написать десять томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике», — самокритично замечает сам Толстой. Но у человека, который ставит перед собой подобные задачи, обязательно что-либо получится.

В одном из поздних писем Толстой вспомнит фразу нелюбимого Наполеона, произнесенную перед солдатами во время египетского похода, подчеркнув масштаб и бесконечность своих планов и поисков: «Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я, по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что *du haut d'écès pyramides 40 siècles me contemplent*<sup>1</sup> и что весь мир погибнет, если я остановлюсь» (А. А. Толстой, декабрь 1874 года).

### «История вчерашнего дня»: открытие *диалектики души*

«Десять тысяч верст вокруг самого себя», — пошутил Глеб Успенский по поводу толстовских исканий, перефразируя заглавие романа Ж. Верна. Но эта, по видимости бесплодная и бессмысленная работа на самом деле была устремлена к невидимой цели.

Через много лет, опять-таки в дневнике, Толстой пишет: «Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям» (17 мая 1896 года).

---

<sup>1</sup> Сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид (*фр.*).

Вполне логично, что постоянное пользование микроскопом для разгадки тайн собственной души привело к постановке и собственно литературных задач. 25 марта 1851 года в дневнике отмечено: «...написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит».

Описание одного дня заняло полмесяца, но так и не было закончено. «История вчерашнего дня» была опубликована лишь в столетнюю годовщину писателя. В этой небольшой вещи, жанр которой трудно определить (это отчасти дневник, отчасти повесть), уже видны многие важные черты Толстого-художника.

«Пишу я историю вчерашнего дня не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен, скорее мог назваться замечательным, а потому что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день».

С первых же строк в «Истории...» заявлены *простота, обыденность предмета* литературного изображения. Искусство растет не на экзотической почве, любое мгновение бытия человеческого на земле заслуживает внимания и запечатления.

А дальше следует характернейший толстовский ход мысли: доведение исходного тезиса до парадокса, до абсурда. (Такой прием станет постоянной приметой его стиля — от «Севастопольских рассказов» до «Воскресения».) «Ежели бы можно было рассказать их (впечатления и мысли одного дня. — *И. С.*) так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать».

Предельно четко Толстой говорит главное: можно исчерпывающе пересказать действия и поступки, внешнюю сторону жизни, но *в глубь человеческая душа неисчерпаема.*

Из возможной поучительной и занимательной книги в «Истории вчерашнего дня» чернила истрачены лишь на несколько эпизодов, в которых обозначен не только предмет, но и *метод* толстовского видения мира.

Герой (не названный по имени граф) играет вечером в карты в молодой симпатичной семье (муж — его приятель, в жену он платонически влюблен), потом собирается домой, хотя дама предлагает поиграть еще. Он отказывается, тут же жалеет об этом и одновременно «рассуждает сам с собой» о сказанной по-французски фразе жены: «Как он любезен, этот молодой человек».

«Как я люблю, что она меня называет в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я бы любил и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко звать меня по имени, по фамилии и по титулу. Неужели это от того, что я... „Останься ужинать“, — сказал муж. Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости».

Этот эпизод можно рассматривать как эпитафия ко всему творчеству Толстого вплоть до «Анны Карениной». Еще не опубликовавший ни строчки писатель уже открывает метод изображения героя, который немного позднее, анализируя «Детство», «Отрочество» и «Севастопольские рассказы», Н. Г. Чернышевский назовет *диалектикой души*.

*Мысль — слово — поступок* героя беспрерывно конфликтуют между собой. Формальное повторение привычных фраз сопровождается безмолвным диалогом совсем о другом, а отпущенное, отбившееся от контроля сознания тело в то же время совершает внешне бессмысленные, а на самом деле глубоко рациональные действия, отвечающие не словам, а тайным желаниям.

Стабильный в прежней литературной традиции образ человека при таком подходе теряет твердые очертания, становясь подвижным, изменчивым. «Как бы хоро-

шо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо» (Дневник, 21 марта 1898 года).

Изображение постоянных противоречий между словом и мыслью, словом и поступком, которые все время фиксирует и анализирует пронизательный повествователь, становится фирменным приемом, доминантой психологического метода Толстого. «Есть у Вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которая может разрастись в большой недостаток. Иногда Вы готовы сказать: „У такого-то ляжки показывали, что он желает путешествовать по Индии“. Обуздать эту склонность Вы должны, но гасить ее не надо ни за что на свете. Вся Ваша работа над своим талантом должна быть в таком роде. Каждый Ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, почти каждое Ваше достоинство имеет в себе зернушки недостатков», — спародировал и одновременно поддержал автора А. В. Дружинин (Л. Н. Толстому, 6 октября 1856 года).

Но эти внешние и внутренние конфликты интересов писателя не сами по себе. Сверхзадачей было иное: не только изобразить и понять человека, но и — с помощью искусства — заразить его своим отношением к жизни.

«Цели искусства несоизмеримы (как говорят математики) с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы» (П. Д. Боборыкину, июль-август 1865 года).



Предсказанный Толстым срок оказался многократно превзойденным. Над его книгами плачут и смеются, с их помощью *полюбляют жизнь* читатели многих стран и нескольких поколений.

### «Детство»: экзистенциальное и социальное

Вскоре после «Истории вчерашнего дня», «вещи в себе», Толстой наконец открыто входит в русскую литературу. Недоучившийся студент, неудачливый помещик, незадачливый чиновник Тульского дворянского собрания, человек по всем формальным показателям отставший от сверстников с карьерой, семьей, положением, он вместе с братом Николаем в апреле 1851 года едет служить на Кавказ юнкером и там продолжает начатую в деревне новую работу.

«Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю, — литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (Т. А. Ергольской, 12 ноября 1851 года).

Масштабность, грандиозность, циклопичность толстовских замыслов, проявившаяся уже в дневниках и в «Истории вчерашнего дня», очевидна и в этой работе. Задуманный роман «Четыре эпохи развития» должен был состоять из четырех частей: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость». Сохранившиеся планы и наброски отличаются почти школьной продуманностью и обстоятельностью, включая разделы «Основные мысли сочинения», «Форма сочинения», «Содержание».

В процессе работы содержание и форма изменились больше, чем «мысли». Объективная сопоставительная характеристика двух братьев («Выказать интересную сторону отношений между братьями»; «Провести во всем сочинении различие братьев: одного наклонного к анализу и наблюдательности, другого — к наслаждениям жизни») превратилась в историю центрального героя, глаза-

ми которого мы видим весь мир, в том числе и характер другого брата. Сплошное, «тотальное» повествование трансформировалось в последовательность маленьких главков, позволяющих автору складывать сложную мозаику из простых повествовательных фрагментов, *сцен* и *размышлений*. «Манера, принятая мною с самого начала, писать маленькими главами — самая удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство», — сформулирует Толстой чуть позднее, уже обогащенный опытом «Детства» (Дневник, 31 декабря 1853 года).

Но ключевое членение на *эпохи* и идея резкого, катастрофического перехода из одного состояния в другое сохранились и тогда, когда роман превратился в цикл повестей (формально так и не заверченный). «Резко обозначить характеристические черты каждой эпохи жизни: в детстве теплоту и верность чувства; в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и [начало тщеславия] гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия и неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место гордости и тщеславия занимает самолюбие, узвание своей цены и назначения, многосторонность, откровенность».

Работа над «Детством» на Кавказе идет медленно, около года, и связывается с календарными датами, важными и для самой повести (день рождения). 22 августа 1851 года Толстой записывает в дневнике: «28-го мое рождение, мне будет 23 года; хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил. <...> С восхода солнца заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий; потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа».

Ровно через год он отчитывается перед собой: «Мне уже 24 года; а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром уже 8 лет я борюсь с сомнением и страстями. На что я назначен? Это откроет будущность». Эта запись в дневнике сделана в день рождения, 28 августа 1852 года, через несколько недель после того, как в Пе-

тербург редактору лучшего русского журнала «Современник» отослана повесть «Детство».

Идея повести вырастает из «Четырех эпох развития», но основной повествовательный и композиционный прием напоминает «Историю вчерашнего дня». «Детство», в сущности, история *двух дней* с небольшими ответвлениями и переходами.

«Вряд ли кто замечает при чтении „Детства“, что действие повести почти целиком уложено в два дня: день в деревне (главы I—XII) и день в Москве (главы XVI—XXIV); главы XIII («Наталья Савишна»), XIV («Разлука») и XV («Детство») служат кадансом первой части и переходом ко второй, а главы XXV—XXVIII образуют финал, заканчивая намеченную еще в первых главах трагическую линию матери и замыкая всю вещь лирической концовкой, посвященной Наталье Савишне» (Б. М. Эйхенбаум. «Лев Толстой. 50-е годы»).

Такая композиция содержательна: десятилетний Николенька Иртеньев, как и любой ребенок, по-особому воспринимает время. *Каждый день*, даже самый обычный («третий день после моего дня рождения»), настолько насыщен событиями и впечатлениями, что длится если и не «дольше века» (как скажет позднее очень «детский» и очень любивший Толстого Пастернак), то дольше взрослого года. В деревенский день вмещаются классы и игры, подготовка к охоте и сама охота, рисование, молитва, «что-то вроде первой любви», учитель, юродивый, родители, нянька.

Главным событием городского дня оказываются вечерние танцы («До мазурки» — «Мазурка» — «После мазурки») и новая детская влюбленность, которая приходит на смену давней мальчишеской дружбе. «Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадн

переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде» (глава XXIII).

Герой — не только повествовательный, но и смысловой центр «Детства». При публикации в журнале повесть получила иное заглавие, чем Толстой возмущался в письме к Некрасову: «Заглавие „Детство“ и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же „История моего детства“ противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории *моего* детства?..» (18 ноября 1852 года).

Его интересовало не *мое* детство, частная история одного дворянского отпрыска, а *универсалия* любой *человеческой* жизни. Толстой, кажется, самостоятельно открывает идею, которую биологи чуть позднее определяют как связь онтогенеза и филогенеза (сходство развития индивида и вида), перенося ее, однако, из биологии в область философского и нравственного развития. Четкая формула такого единства дана в «Отрочестве» (глава XIX): «Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий. Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины».

Воспоминания и размышления о своем детстве («мелочность») становятся для Толстого лишь материалом для поиска общих законов первой эпохи развития («генерализация»). Но это всеобщее можно было найти, лишь как можно глубже заглянув в себя.

Парадокс широты и глубины, индивидуального и всеобщего позднее будет замечательно сформулирован на

примере во многом ему противоположного современника-антагониста Достоевского. «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. *Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее*» (Н. Н. Страхову, 3 сентября 1892 года; выделено мной. — И. С.).

С такой установкой связан и другой парадокс. Опираясь на семейные воспоминания, называя многих прототипов своих персонажей (вслед за ним это делали родственники и критики, определяя, кто и с кого «списан»), Толстой пишет все-таки не автобиографию и не мемуары (за эту работу он примется лишь в старости и бросит ее в самом начале). Он был (или не был) Николенкой Иртеньевым почти в той же степени, в какой был (или не был) Пьером Безуховым, Константином Левиным или Холстомером! Точные формулировки писательских отношений Толстого с собственной биографией нашла Л. Я. Гинзбург: «Толстой не писал автобиографий и мемуаров (за исключением начатых в 1903 году и незаконченных „Воспоминаний детства“), может быть, именно потому, что автобиографизмом проникнуто его творчество. <...> Толстой широко пользовался в своих произведениях обстоятельствами собственной жизни — это общеизвестно. Но, изображая Левина или Николенку Иртеньева, Толстой столь же свободно прибегал к вымыслу („Детство“, „Отрочество“, „Юность“ — произведения скорее автопсихологические, нежели автобиографические). „Документальность“ Толстого — факт совсем не внешнего порядка. Подлинная ее сущность в той прямой и открытой связи, которая существовала между нравственной проблематикой, занимавшей Толстого, и проблематикой его героев. Для Толстого постижение целей и ценностей жизни никогда не было отвлеченным занятием духа. Оно имело одновременно практическое отражение в его жизни и художественное в творчестве. Толстой смолоду и до конца неустанно, каждодневно работал над своей жизнью, над осознанием своего опыта — офицера,

помещика, семьянина, педагога, мыслителя. И для него, субъективно, писание повестей и романов было одним из проявлений этой непрекращающейся переработки жизни» («О психологической прозе»).

Вглядываясь в глубину своего детства (правда, не бездонную, как в цитированных выше старческих «Воспоминаниях»; здесь о десятилетнем мальчике пишет двадцатичетырехлетний молодой человек), автор стремится понять *общее детство*.

Об особенностях этой «эпохи развития» подробнее всего говорится в главе XV, заглавие которой совпадает с названием книги (подобные «генерализующие» главы есть и в других частях трилогии): «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений... Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?»

Невинная веселость, потребность любви, сила веры — свойства каждого детского сознания. Однако толстовский автопсихологический персонаж в самых существенных чертах отличается от героя книги «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова или позднее чеховских персонажей «Детворы» (и рассказа, и сборника). «Склонность к анализу» (эта автохарактеристика есть в «Отрочестве»), серьезность нравственной работы над своей жизнью резко выделяет десятилетнего толстовского героя на фоне других детских персонажей.

Уже само начало повести, первый эпизод задает тон, демонстрирует особую пристальность, цепкость взгляда центрального персонажа и размах маятника его эмоций. Мальчик просыпается утром от удара над его головой хлопнушкой по мухе — и сразу же, как будто в согласии с известной пословицей, начинает делать из мухи слона.

Сначала он обижается на старого учителя: «Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но *сердитыми глазами* окинул Карла Иваныча. <...> „Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: *оттого он меня и мучит*. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы *мне делать неприятности*. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... *противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!*“» (Здесь и далее курсив в авторском тексте мой. — И. С.)

Через минуту, после щекотки, выказывающей доброе расположение Карла Иваныча, те же детали видятся ему в ином свете. «*Какой он добрый и как нас любит*, а я мог так дурно о нем думать! Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, *хотелось смеяться и хотелось плакать*: нервы были расстроены. <...> *Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты*. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто папа умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь».

Потом он превратится в ученика, подумает о бедной судьбе одинокого учителя, вообразит себя взрослым и снова зафиксирует вибрацию, маятник чувств. «Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки».

Необычность, даже уникальность мировосприятия автотопсихологического персонажа «Детства» наиболее отчетливо проявляется в кульминационной сцене смерти матери (глава XXVII, «Горе»). Придуманый в первой главе сон оказывается вещим. Но стоящий у гроба деся-

тилетний ребенок не просто погружен в горе. Перед нами опять возникает сложная динамика, диалектика чувства. «Минута самозабвения» (плач, мучительное созерцание мертвого лица, воспоминания, забытье) вдруг сменяется «самолюбивым чувством» и «бесцельным любопытством», в свете которого вроде бы охваченные горем люди вдруг предстают актерами, притворно играющими в странной драме.

«Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффективным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. <...> Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу — что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, — возбуждали во мне какую-то досаду». Настоящее страдание, кажется, испытывают лишь простые души: брат Володя, какая-то неизвестная старушка.

«Пытка анализом преследует персонажей и на краю гибели», — заметил Б. М. Эйхенбаум по поводу второго севастопольского очерка со знаменитой сценой смерти Праскухина. Подобную пытку Толстой начинает уже в «Детстве», расслаивая, расщепляя, подвергая жесткой проверке даже самые «неприкасаемые» чувства и ситуации. В ключевых эпизодах ребенок вообще, некий Николенька Иртеньев оборачивается ни на кого не похожим маленьким Толстым, беспощадно исследующим экзистен-



циальные ситуации, которые обычное детское сознание постичь не может.

Однако финальная точка взрывает эту атмосферу театральности и притворства, снова превращает рассказчика из наблюдателя в участника. Завершается сцена двойным криком ужаса, обнажающим истинную суть происходящего. «Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка, с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты».

Осознание смерти — конец первой эпохи развития. «Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества...» — четко сформулировано в последней главе.

Года четыре был я бессмертен,  
Года четыре был я беспечен,  
Ибо не знал я о будущей смерти,  
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

*(С. Маршак, 1960)*

Толстовский герой прожил в этом счастливом незнании не четыре, а десять лет: может быть, в двадцатом веке и детское время пошло быстрее.

Однако эта экзистенциальная точка в конце детства оказывается не единственной. В начале следующей книги (глава III, «Новый взгляд») в разговоре с дочерью гувернантки появляется еще один важный мотив, еще

одна пограничная ситуация. Простая фраза девочки: «Вы богаты, у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет» — поражает героя и приводит к очередному открытию: «Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал».

Это новое знание о социальном устройстве мира (*вы богаты — мы бедны*) и его неиерархичности, структурном многообразии (*существует жизнь других людей, не имеющих с нами ничего общего*) оказывается еще одним концом детства.

### **«Отрочество» и «Юность»: разочарования и обещания**

«Отрочество» и «Юность» строятся по тому же принципу доминирующей эмоции конца.

Отрочество — цепь болезненных столкновений с миром. Герой осознает «какую-то невидимую преграду» в отношениях с девочками, переживает «измену» Сонечки, наконец, «перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*» в служанке Маше. Не менее сложный сюжет и пучок эмоций возникает в отношениях со старшим братом: соперничество, зависть, ревность, приступы любви и раскаяния. А неприязнь к учителю-французу и вовсе перерастает в ненависть.

Если детство — эпоха интуитивной слитности с миром, то отрочество — время болезненного выделения из

него, осознанного рождения личности (одна из ключевых глав повести называется «Я»).

Итогом «Детства» было открытие смерти и социального неравенства. Финалом отрочества становится обретение дружбы, связывающей человека уже не со всем миром, а с *другим*, себе подобным.

«Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности».

Появление Дмитрия Нехлюдова, взаимное дружеское признание завершают «пустыню отрочества» и открывают новую перспективу: «Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться».

Однако вторая книга завершается на многоточии: открывая перспективу новой эпохи, Толстой скептически корректирует ее. «Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым... А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..»

«Юность» и есть книга о неосуществленном. Попытки «прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им» приводят к регулярным неудачам и поражениям. Начинаясь мечтами о любви и счастье, поступлением в университет, книга заканчивается страшным провалом на экзамене, детскими слезами обиды и даже мечтами о самоубийстве: «Три дня я не

выходил из комнаты, никого не видел, находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми бы мог застрелиться, ежели бы мне этого уж очень захотелось».

Выход из кризиса намечен опять-таки не общеиртеньевский, а индивидуально-толстовский: сочинение новых правил жизни и надежда на будущее (весь мир погибнет, если я остановлюсь). «Я думал, думал и наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, взбежал наверх, достал тетрадь, на которой написано было: „Правила жизни“, открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу празднично и никогда не изменю своим правилам».

«Юность» тоже обрывается на многоточии: «Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности».

Однако это обещание осталось неисполненным. Толстой даже начал вещь под заглавием «Юность. Вторая половина», но не продвинулся дальше черновика. *Энергия заблуждения*, диктовавшая этот замысел, оказалась исчерпанной: «Четыре эпохи развития» оборвались после третьей.

Замысел «Молодости» лишь отчасти реализовался в «Казаках». Но закончив «Юность» разговорами с Дмитрием Нехлюдовым, Толстой не забыл этого своего героя. Он станет очередным автопсихологическим персонажем сначала в «Утре помещика» (1854), потом — в последнем романе «Воскресение» (1899).

Иногда Толстой склонен был более широко понимать значение этой юношеской книги о детстве и юности. Молодой собеседник-художник вспоминает эпизод, относящийся к середине 1890-х годов: на вежливый вопрос он получает неожиданную отповедь. «Мне было то-

гда 17 лет, и я зачитывался повестями Льва Николаевича „Детство“, „Отрочество“ и „Юность“. Помню, я завел разговор об этих повестях. Они казались мне незаконченными, и я спросил: „Когда же будет продолжение «Юности»? Ведь вы кончаете повесть обещанием рассказать, что будет дальше с ее героями“. Лев Николаевич сразу нахмурился. Было очевидно, что мой наивный вопрос испортил ему настроение. „Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение юности, — сказал он сухо. Некоторое время шли молча“» (П. И. Нерадовский. «Встречи с Толстым»).

Трудно гадать о причинах подобной сухости и раздражения. Может быть, в какой-то степени их помогает понять Осип Манделштам. Рассуждая об относительности литературного прогресса, он противопоставит трилогию общепризнанным, главным толстовским творениям. «Даже к форме и манере отдельных писателей неприменима эта бессмысленная теория улучшения, — здесь каждое приобретение сопровождается утратой. Где у Толстого, усвоившего в „Анне Карениной“ психологическую мощь и конструктивность флюберовского романа, звериное чутье и физиологическая интуиция „Войны и мира“? Где у автора „Войны и мира“ прозрачность формы, „кларизм“ „Детства“ и „Отрочества“?» («О природе слова», 1922—1923).

«Великая книга о детстве», — называлась статья С. Н. Дурылина, посвященная 55-летию публикации «Детства» (1907).

«Когда я писал „Детство“, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства» (В. Ф. Булгаков. «Л. Н. Толстой в последний год его жизни», запись 12 апреля 1910 года).

Автопсихологическая трилогия стала не только копилкой будущих литературных замыслов, но и некой абсолютной точкой на пути, раз и навсегда открытым континентом на карте толстовского мира.

*И. Н. Сухих*

*Детство*

*Отрочество*

*Юность*



# ДЕТСТВО

## ГЛАВА I УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей



кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal<sup>1</sup>, — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer!<sup>2</sup>— говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie<sup>3</sup>, Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и ее

---

<sup>1</sup> Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (*нем.*).

<sup>2</sup> Ну, ну, лентяй! (*нем.*)

<sup>3</sup> Ах, оставьте (*нем.*).

несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умыться.

Я совсем развеселился.

— Sind Sie bald fertig?<sup>1</sup> — послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и не-

---

<sup>1</sup> Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

учебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»<sup>1</sup>, в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об уваживании огородов под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку

---

<sup>1</sup> «История путешествий» (фр.).

можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставлял его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полужакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber<sup>1</sup> Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линейвания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, сто-

---

<sup>1</sup> Милый (нем.).

ишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Отлянешься на Карла Ивановича, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с вышнениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

## ГЛАВА II

### МАМАН

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики,шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платье, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *arpeggio*<sup>1</sup>. Подле нее вполупоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»<sup>2</sup>, — еще громче и повелительнее, чем прежде.

---

<sup>1</sup> Арпеджио — звуки аккорда, следующие один за другим.

<sup>2</sup> Раз, два, три, раз, два, три (*фр.*).

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием, подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber<sup>1</sup> Карл Иваныч, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

— Пойдите на минутку, Мими, — сказала татап Марье Ивановне с улыбкой, — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

---

<sup>1</sup> Благодарю, милый (нем.).

## СОДЕРЖАНИЕ

Лев Толстой и Николенька Иртенъев: три эпохи развития. <i>И. Н. Сухих</i> . . . . .	5
--	---

### **ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ**

ДЕТСТВО . . . . .	27
ОТРОЧЕСТВО . . . . .	140
ЮНОСТЬ . . . . .	227
Примечания. <i>И. Н. Сухих</i> . . . . .	404



Литературно-художественное издание

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

# ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Ответственная за выпуск Алла Степанова  
Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Александра Савастени  
Корректоры Станислава Кучепатова, Людмила Ни  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

12+

Подписано в печать 06.09.2018. Формат издания 75 × 100 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 18,3. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.oaompk.ru, www.oaompk.pф  
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19  
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60  
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах  
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new\_authors/



A-AKB-8842-07-R